В. КУКИНОВА

ИСЧЕЗНУВШИЕ СЛОВА



Москва 1962

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

В рассказах Веры Тимофеевны Кукиновой есть достоверность воспоминаний. Я бы назвал их воспоминаниями о подробностях жизни. Время, о котором рассказывает Кукинова, вошло в историю нашей страны победами на фронтах гражданской войны, восстановлением разрушенной промышленности, строительством первых электростанций и заводов, — это было героическое время. Однако, как и в любую другую эпоху, была и в ту пору повседневность, была обыкновенная жизнь, подробности которой, если о них не расскажет современник, бесследно исчезнут. Потомкам останется лишь некий костяк эпохи, схема событий, что может быть воспри-

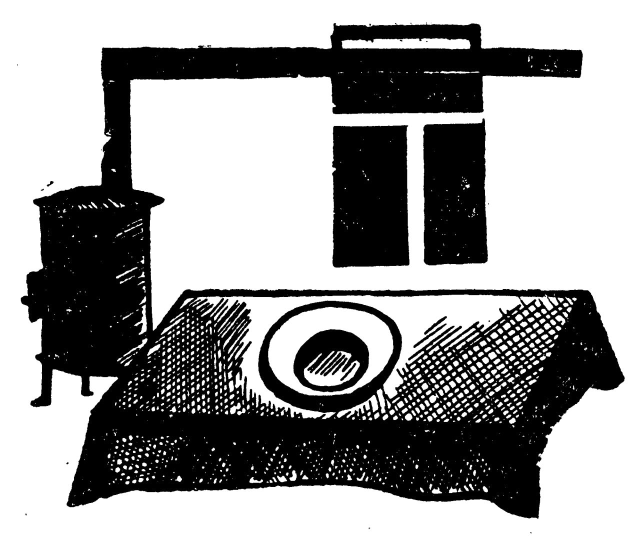
нято разумом, но не чувством. Если же этот костяк снабдить так называемыми житейскими мелочами, если к схеме прибавить частности, то прошедшее приобретет вдруг объемность, цвет, запах — оно, как живое, встанет в воображении.

Вот это последнее и делает Кукинова своими рассказами об исчезнувших словах. Наполняя живым содержанием какой-нибудь «помгол» или «ликбез», как очевидец свидетельствуя о том, что сокрыто было в умершем уже теперь слове, она позволяет вообразить картины быта давно ушедших лет, ощутить, как трудна и вместе с тем замечательна была жизнь.

Героичность эпохи просматривается и сквозь быт.

Те из нас, для кого то удивительное время было временем их детства и юности, при чтении этих живых и точных рассказов почувствуют щемящую радость, какая всегда возникает при встрече с прошлым. Что же до молодых людей, то они, сравнив свою юность с нашей, поймут, какой огромный путь прошла страна и что разговоры о величии этого пути проистекают не из пристрастия старших к докучливым поучениям.

Ефим Дорош.



Помгол

Было время, когда москвичи произносили это слово чаще, чем теперь произносят «кино» или «мороженое». Говорили: «Помгол выдал», «Помгол обещал», «приходили от Помгола».

Помголом в 1921 году называлась организация, специально созданная в помощь голодающим Поволжья. Но помогала она не только Поволжью.

Всей стране было тогда трудно. Новая жизнь, на которую решились наши рабочие и крестьяне, начиналась несладко. Война за войной. Разрушенное хозяйство. Интервенция. Блокада. Голод. А тут еще неслыханных размеров неурожай в Поволжье.

Мы жили не в Поволжье, а в Москве. Но тоже голодали. Правда, по-другому. Нам, например, — мне, сестре и брату — все время, каждую минуту хотелось есть. Но нам еды не хватало, а в Поволжье ее не было совсем.

Мы, дети, не знали, что называемся голодающими. Не потому, что нам не хотелось есть. Есть очень хотелось. Просто мы думали, что так и должно быть. Ведь мы тогда не знали, что бывает по-другому, когда есть не хочется.

Мы, как и взрослые, тоже часто говорили про Помгол. Но мы думали, что это человек, что Помгол такое же имя, как, например, Пахом.

У нас в квартире было два соседа. Один — дедушка Пахом—Пахомыч, как его звали взрослые. Он работал сторожем в типографии «Мысль печатника» на Петровке. Другой — Василий Терентьич, бухгалтер. Он носил пенсне. Пахомыч про него говорил, что он молодец, хотя и в пенсне: всю зиму ходит в банк и считает один за всех саботажников, которые сбежали и не хотят работать на Советскую власть.

Василия Терентьича мы боялись. Пахомыча — любили. И он, и Помгол были добрые. Пахомыч приносил из типографии для нашей печки-буржуйки бумагу — всякие оборванные листы и испорченные газеты, а Помгол — еду. Только Пахомыч приносил сам, а к Помголу ходили — и он давал то муку, то пшено, то сладкую мороженую картошку, а один раз даже повидло.

Никаких грустных воспоминаний у меня это слово не оставило. Наоборот, какие-то все очень приятные и даже веселые воспоминания. И большинство связано именно с едой, а не с голодом.

То вспоминается выданная Помголом необыкновенно красивая саговая каша, похожая на разогретые бусы. Вкуса она не имела, но есть ее было весело и интересно. Никогда потом я не ела саговую кашу и нигде ее не встречала.

С Помголом связана и другая очень вкусная еда — облепиха. Ее приготовляли из ржаных высевок. Высевок давали мало. Их не хватало на хлеб. Вот и придумали облепиху. Муку заваривали кипятком, заправляли солью и половинкой таблетки драгоценного сахарина, разведенного в воде. Все это размешивали, выливали на горячую сковороду и накрывали крышкой. Мука распаривалась и разбухала — получалось много и вкусно.

Василий Терентьич, когда мама угощала его облепихой, всегда называл себя дураком за то, что не ел раньше этого блюда.

— Ведь муки, — говорил он, — было сколько хочешь. Готовь хоть каждый день!

Мы тоже удивлялись: почему, в самом деле, если муки было много, Василий Терентьич не ел облепиху каждый день?

Но больше всего мне запомнились картофельные оладьи.

В тот день мы, как всегда вчетвером — сестра, брат, я и наша больная бабушка, сидели на кухне. Мы тогда и жили на кухне, а не в комнатах. Отопление не работало, и в комнатах стоял такой же мороз, как на улице. Мы иногда бегали туда играть и рисовали на заиндевевших стенах домики и рожицы.

Так мы сидели, разговаривали, и каждый старался быть поближе к сестре, потому что от нее шел жар, как от печки. Мы не знали, что у нее начинался тиф.

Был уже вечер, и бабушка дремала. Всем хотелось есть, но есть было нечего.

Мы прислушивались к шагам на лестнице — не идет ли мама, а потом стали говорить про еду.

Брат вспомнил, как приехавший с фронта отец привез две большие душистые буханки хлеба и четыре огромные, с поднос величиной, шляп-

ки подсолнухов, сплошь утыканные черными сочными семечками.

А мать все не шла, нам уже нечего было вспоминать, и брат заплакал. Тогда бабушка, проснувшись, сказала, что можно пожевать ее табаку, — меньше будет хотеться есть. Только чтобы не рассыпали. Но в это время вошла мама. Она была усталая, замерзшая, но радостная и прямо с порога сказала, что Помгол выдал полмешка картошки и она сейчас приготовит нам оладьи.

И вот она принялась их готовить, а мы замолчали и стали смотреть и ждать.

Мама отогрела пальцы и принялась развязывать мочалку, которой был стянут мешок. Потом взяла таз, наполнила его водой и насыпала в него картошку. Картошка смерзлась и звонко гремела, как деревянные шары. Когда картошка отошла, мама стала ее чистить. Это тоже было очень долго: мама чистила одна, она боялась, что мы будем срезать кожуру слишком толсто.

Очищенную картошку она складывала в кастрюлю, чтобы сварить завтра суп, а очистки оставляла в тазу.

Потом она промыла эти очистки сначала один раз, затем другой и третий. Наконец, начала их пропускать через мясорубку. Когда жидкие серые змейки перестали выползать из решетки, мама велела нам разжечь «буржуйку» остатка-

ми Пахомычевой бумаги и поставить на огонь сковородку.

Но тут она схватилась за голову и сказала:

— Батюшки мои, все пропало!

Оказалось, что жарить не на чем. Пузырек с касторкой, которой обычно смазывали сковороду, был пуст...

Мы сидели и молчали. Мама устало опустилась на табуретку.

— Если бы, — сказала она, — это были не оладьи, а котлеты, и если бы они были не картофельные, а мясные, то их можно было бы поджарить, не смазывая сковороды, на собственном соку. Но из картофельных очистков выходит только вода.

Все приуныли, но выручила бабушка. Кряхтя и охая, она освободилась от старых пальто и одеял, которыми были укутаны ее распухшие ноги, и, никому ничего не объясняя, ушла из кухни.

Она долго пропадала, и мы решили, что бабушка, расстроившись, легла спать. Оказывается, она искала в своем комоде сало для оладий. Она так и сказала, когда вернулась: «Вот вам и сало для оладий!» — и вынула из глубокого, как мешок, кармана толстую венчальную свечу, обвитую золотой спиралью, с большим муаровым бантом у основания. Бант вместе с заржавленной булавкой она отдала нам, а свечу — маме.

Пустая, раскаленная и злая сковорода, перестав чадить и злиться, уютно зашипела. Оладьи стали подрумяниваться, все повеселели.

— Никогда не надо унывать, — сказала бабушка. — Сейчас мы пообедаем как буржуи!

И мы стали есть замечательные горячие оладьи.



Ликбез

В 1927 году мама записалась в кружок по ликвидации безграмотности — в ликбез. И сразу это слово стали повторять в нашей семье все: мать, отец, старшая сестра и мы с братом. Но все по-разному. Мать — то смущенно, то с вызовом. Отец — с раздражением, почти как ругательство. Приходил с работы и спрашивал:

— Где мать?

— У соседки!

— Не ври! Небось опять ликбезится-бесится. Постыдилась бы, дура старая!

Матери шел тогда тридцать девятый год, и она действительно очень стыдилась, что, несмотря на поседевшую голову и трех взрослых детей, взялась учить азбуку. Но отцу она не показывала, что стыдится, и воевала, с ним, как могла.

Сестра с новым словом обращалась деловито и хвасталась этим перед нами. Прибегала вечером из школы и прямо с порога командовала:

— Ребята, чаю! Опаздываю в ликбез. Старушечки уже ждут!

Она на ходу пила чай, вытряхивала из школьной сумки книги и тетради, засовывала туда букварь, мел и огромную таблицу умножения, которую нарисовала сама на обороте старой географической карты. Потом, поплевав на бумажку, она оттирала чернильные кляксы на пальцах и, повязав голову красной косынкой, убегала на занятия. Сестра называлась культармейцем.

Это не было пустым, щегольским словечком. Оно точно соответствовало смыслу. Ликвидировать свою безграмотность хотели тысячи и тысячи рабочих и работниц, крестьян и крестьянок. Требовалась действительно целая армия бойцов-энтузиастов, чтобы осуществить невиданную в истории культурную революцию в стране, где чуть ли не каждый третий был неграмотным.

Как только за сестрой захлопывалась дверь,

мы мигом убирали посуду, рассовывали ее куда попало и бежали смотреть ликбез.

К этому времени у подвальных окон бывшей прачечной, переделанной в Красный уголок, уже собиралась толпа ребят. Ликбез стал любимым развлечением всего двора.

Как назойливые мухи, облепляли мы окна душного подвала и с интересом рассматривали наших матерей — будто никогда их не видели прежде.

Мы действительно такими их раньше не знали. Они не стирали, не мыли полов, не варили обеда. Не шили, не штопали, не бранились друг с другом. Чинные, напряженные и, как нам казалось, поглупевшие, сидели они над раскрытыми книгами, с которыми обращались как с дорогой стеклянной посудой.

Это не только уравнивало их с нами, но и делало в наших глазах смешными и беззащитными. Ведь никому из нас до этого и в голову не приходило, что они вообще чего-то не умеют. Мы твердо знали, что они умеют все. И вдруг мы увидали наших сильных и уверенных матерей неуверенными и неловкими. И в чем? В том, что сами и за дело не считали!

Нескладно и смешно, как левши, держали они перья, нескладно обращались с книгой: плевали на пальцы, прежде чем перевернуть страницу. Бестолково читали слоги, пропуская буквы: от-

дельно — «ма» и «ша» — читали верно, а вместе произносили «мша».

Как мы хохотали — стыдно вспомнить! Мы стреляли по раскрытым букварям жеваными бумажками, строили рожи. На разные лады подсказывали таблицу умножения, кричали, что дважды два — пять, семь, десять...

Мы безобразничали до тех пор, пока сестра, исправно изображавшая опытного педагога, не выходила из себя и не взрывалась. Одним прыжком, как кошка, она вскакивала на подоконник, оттуда — на улицу и смерчем обрушивалась на нас, раздавая всем подряд шлепки и подзатыльники.

Потом, опять же через окно, перелезала обратно, садилась за стол, переводя дыхание и, подражая своей школьной учительнице, говорила ненатурально интеллигентным голосом:

— Итак, на чем мы остановились?

Тишина водворялась ненадолго. Проходило несколько минут, и в окно просовывалась голова.

— Пелагея, Витька плачет!

Потом врывался чей-нибудь муж.

— Моя здесь? Ужинать-то сегодня будем или сидеть не жрамши?

Самым же смешным для нас номером вечера была Сенькина шутка.

Сенька-водопроводчик — молодой мужик, глупый, лохматый и веселый — развлекался пуще нас. Возвращаясь с работы в одни и те же часы, он всегда останавливался у ликбезовских окон. Клал на землю свою сумку с инструментами, подмигивал нам и, просунувшись до пояса в окно, кричал истошным голосом:

— Ученицы-ы-ы, молоко бежит!

Фокус заключался в том, что каждый раз он кричал одно и то же и каждый раз все женщины вскакивали от этого крика, как будто их дергали за ниточку.

Громче всех хохотал сам Сенька. Он просто заходился от смеха и под конец даже не хохотал, а стонал, не то икая, не то всхлипывая. Мы прямо пугались, глядя, как он, ослабев от смеха, валился набок, вытирая слезы рукавом рубашки.

Мы тоже смеялись — сначала над шуткой, а потом над тем, как чудно́ смеялся Сенька.

Никто из нас и не подозревал, как плохо кончится для Сеньки эта шутка.

Женщин она очень задевала. Они переживали ее как-то особенно болезненно. Вскочив от его крика, как по команде, они потом уже не садились, а, потоптавшись на месте, расходились по домам, не глядя друг на друга.

И вот однажды они прорвались.

Когда Сенька в очередной раз просунулся в

окно и собирался уже крикнуть насчет молока, две женщины, заранее подстерегавшие его, навалились сзади, приподняли и протолкнули через окно в комнату.

Нам было не видно, как они его тузили. Сенька ругался и кричал все время одно и то же:

— Дуры бешеные!

Потом женщины разбежались, а Сенька все ругался, и мы долго не подходили к окнам — боялись, что он со злости побьет нас.

Несколько дней занятий не было. Потом пришла незнакомая женщина с портфелем и провела большое собрание. Перед этим она велела нам обойти все квартиры и сказать, что завтра в семь часов вечера в Красном уголке будет важное собрание, чтобы все, кто может, обязательно приходили. Она дала нам большой кусок розовых обоев и поручила написать плакаты и повесить их на видном месте в Красном уголке.

Славкин старший брат очень красиво написал большими буквами с тенью два плаката: «Мы путь земле укажем новый!» и «Неграмотность — наш враг!»

Мы сами прибили эти плакаты: один над грифельной доской, а другой около входной двери.

Народу на собрание пришло очень много — и мужчин и женщин. Председателем выбрали на-

шу маму. Мы с братом из-за этого чувствовали себя очень плохо — стыдились и переживали, потому что видели, как мать волнуется. Она не умела проводить собрания и не знала, что надо делать, — сидела и молчала. Только расправляла на плечах платок. Но потом все обошлось. Она перестала смущаться, потому что все начали слушать выступающих. Она ведь не знала только, как открывать собрание, а все остальное делала хорошо — давала слово, строго следила за порядком, и все ее слушались, а под конец даже выступила, и ей похлопали.

Через несколько дней занятия возобновились, и мы еще раза два ходили смотреть ликбез. Но потом совсем перестали. Не из-за того, что нас ругали на собрании, — просто стало неинтересно. Почти все женщины выучили таблицу умножения и громко читали по слогам: «Мы не рабы, рабы не мы». И никто не путал слогов.



Выдвиженец

Я прихожу домой из школы, а на сундуке мрачнее тучи сидит дядя Федя. Уперся локтями в свои огромные колени и дымит, дымит, как паровоз. Я уж не суюсь, вижу — ему не до меня. Что-то случилось. Сажусь тихонько у окна и делаю вид, что смотрю во двор.

Мать собирает на стол и тоже ни о чем дядю Федю не спрашивает, дает ему отмолчаться. Наверно, опять тетя Маня заболела, а может, у него кошелек украли. Сейчас сядем за стол, тогда и узнаю.

— Пропал я, сестра, — вдруг говорит дядя Федя, — табак мои дела! — Он больно шле-

пает себя по коленям и, крякнув, встает во весь рост. Хочет походить по комнате, а по нашей комнате не очень-то расходишься: тут кровать, тут сундук, тут комод, потом большой, до потолка, фикус, и шкаф. А дядя Федя сам со шкаф, а может, даже и шире.

— Сядь, поешь, — говорит мать, и наливает ему полную тарелку щей. Но он не ест, а достает папироску и опять закуривает.

— Будет тебе, Федя, — говорит мать ласково. — Что стряслось-то, рассказывай толком.

— Выдвинули меня, вот что!

— Батюшки ты мои!

«Вон оно что! За что ж это его? И как, интересно, выдвигают? — думаю я. — Берут и двигают, как шкаф. А он упирается». Мне смешно, а мать говорит строго:

— Перестань скалиться и не развешивай уши. Ешь и уходи! — А сама спрашивает про то же:

— Куда же выдвинули-то! Может, ничего, обойдется?

— В том-то и штука, что не обойдется. Директором меня выдвинули — вот что! — виновато говорит дядя Федя. — А какой я директор? Танька, вон наша, и та по арифметике больше мово знает. А тут — завод целый. Махина! К тому же бухгалтерия: дебет-кредит! А

я в бухгалтерии ни уха, ни рыла! Да и вредительство, сама знаешь...

— Да-а-а, — сокрушается мать. — Не надо было тебе, Федя, соглашаться. Запутают они тебя, спецы-то, беды не оберешься. Да и дети у тебя, Маня больная...

— Что ты травишь меня! Думаешь, сам не понимаю? Понимаю, оттого и голова раскалывается! И соглашаться — не соглашался. Выдвинули — и все! В порядке орабочивания аппарата. Собрание выдвинуло, райком утвердил. Ты, говорят, коммунист? — Коммунист. Рабочий класс? — Рабочий класс. Ну и дело с концом! Пролетарское чутье имеешь, а остальное наживешь. Не все за спецов держаться, надо и своих растить.

— Так-то оно так, — говорит мать. — Да ведь обуза-то какая!

— Обуза — ничего, не рассыплюсь. Силенки есть. Умишка бы хватило, да знаний бы подзанять!

— Умом тебя бог не обидел. И в роду у нас как-будто дураков не было...

— Сложно на заводе сейчас. Половина цехов стоит, половина — зажигалки делает. Спецов хороших мало. Кто удрал, кто саботажничает, а кто не поймешь что думает. Не каждому доверишься. А дело делать надо, надо завод пускать,

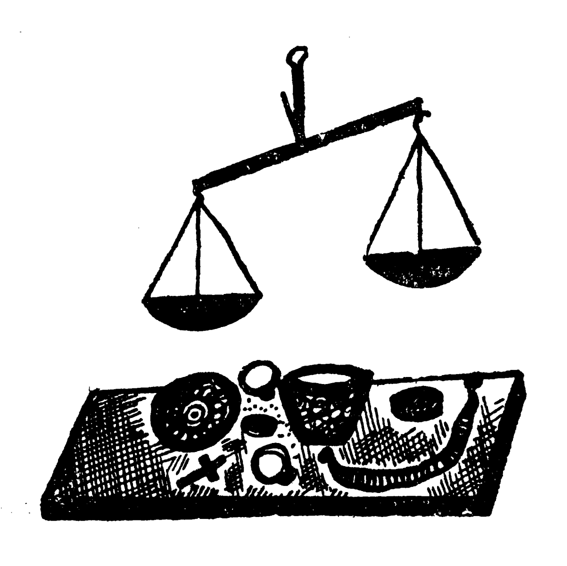
производство налаживать. Кто-то же должен за это браться?

— Это верно, — серьезно говорит мать. — Сами мы все это затеяли, самим и расхлебывать надо. Учиться бы тебе, Федя, а то пропадешь!

— А я не учусь, думаешь? Я этот гранит науки грызу как окаянный! Маркса по ночам читаю: «товар — деньги — товар». Слова, вроде, знакомые, а сути пока не ухвачу! Учился я не по порядку — вот в чем штука! С пятого на десятое. Сначала верхи, потом азы, а потом середина. Оттого и каша в голове... Но уж я подохну, а выучусь! — и трах, дзынь! — посуда запрыгала — так дядя Федя хряснул по столу кулаком.

— Посуду-то не бей, директор! — смеется мать. — Небось, загордишься теперь, в автомобиле начнешь ездить, не дай бог, пузо отрастишь!..

Они дружно хохочут, а я смотрю в окно. Опять этот противный рыжий кот крадется за воробьем. Сейчас я пульну в него коркой и пойду на улицу. Все равно уж дяде Феде теперь не до меня и играть мы с ним не будем.



Торгсин

Когда в Москве на Сретенке открылся торгсиновский магазин, мы вчетвером сразу же после уроков побежали смотреть, что это такое. Повсюду только и говорили, что про торгсин. Будто бы там полно любых товаров — покупай что хочешь!

Народу в торгсине было полным-полно. Все

ходили от прилавка к прилавку и рассматривали неправдоподобные товары: белую, как пудра, муку, нежно-розовую вареную колбасу, настоящие «эклеры» и «наполеоны», нарядные конфеты в золотых бумажках.

Люди забыли, как все это выглядит. Была карточная система, и продукты выдавались по карточкам. В магазинах просто так, то есть на деньги, можно было купить только спички, пуговицы и еще какую-то мелочь. Все же остальное выдавалось по карточкам и ордерам. Ты заранее подавал заявление в местком, и тебе выдавали ордер — на пальто, платье, обувь, а также на алюминиевые тазы и кастрюли. Объявление о полученных ордерах вывешивалось рядом со стенной газетой.

«Получены ордера:
Галоши мальчиковые . . . . . 6 пар
Трико дамское . . . . 2 пары
Башмаки парусиновые н/резин. подм. . . . . 8 пар
Заявления подавать в месткоме».

Долгожданные башмаки, которые я получила по маминому ордеру, были матерчатые, высокие, будто для фигурного катания. Зашнуровывались они, как мужские штиблеты, на черные железные крючки. Башмаки были в общем-то ничего, довольно крепкие, но неудобного цвета — белые. Я и покрасила их тушью, а сверху еще и

гуталином. Потом подкоротила — получилось вполне прилично. Всю осень они меня спасали.

В торгсине башмаки и туфли были самых различных цветов и фасонов: коричневые с рантом, лакированные лодочки на французском каблуке рюмочкой, бежевые, резные — и все красивые, нарядные, сияющие мягкой, как шелк, кожей.

Из обувного отдела мы пошли в кондитерский и стали рассматривать сначала пирожные, выставленные на витрине, а потом симпатичного старичка в каракулевой шапке. Зажмурившись от удовольствия, он ел тут же, у прилавка, необыкновенной красоты «корзиночку» с кремом.

— Вот как жили раньше, дети! — сказал он, доев пирожное и вытирая измазанные кремом усы. — Не то что сейчас. Сказка!

— Не сори на пол, сказочник! — зло сказала ему женщина, когда старичок, облизнув кружевную бумажную салфеточку, смял ее и бросил под ноги. — Твоя сказка известная: нам — корочку, а тебе — икорочку, — добавила она. — Буржуй недорезанный!

— И зачем только эти торгсины открыли? — вздохнула другая. — Только людей расстраивают!

— Правда, ребята, зачем их открыли? — возмутился Севка.

— Дурак ты, Севка, — строго сказала

Юля. — Ведь сюда несут золото, а золото знаешь как нужно? Ведь мы строим — у нас же своих машин пока мало, мы их у иностранцев покупаем. А на что покупаем? На золото! Вот соберем побольше этого золота, накупим каких надо машин, потом построим свои заводы и фабрики и будем выпускать все, что захотим. Во всех магазинах будет тогда, как сейчас в торгсине. Что ж ты, не можешь потерпеть одну пятилетку?!

— Верно, Юлька! Я забыл, — сказал, смутившись, Севка. — Мы потерпим.

— А старик не сообразил, — сказала Юля. — «Наполеон»-то ведь больше «корзиночки». Я бы взяла «наполеон».

Мы стали каждый день играть в такую игру: приходили в торгсин и покупали себе кто что хочет. Сначала выбирали одежду, потом обувь, а под конец еду. У каждого были свои любимые джемперы, туфли, пирожные, и только Севка Плещеев не покупал ничего — ни башмаков, ни джемперов, ни пирожных. Все свои деньги он тратил на фотоаппарат в красивом кожаном футляре.

Он прямо бредил этим аппаратом день и ночь. Несколько раз, напустив на себя рассеянно-солидный вид, он прицеценивался, просил показать ему аппарат и даже трогал и вертел его, проверяя, как он говорил, фокус.

Севку в конце концов запомнили, и, как он ни изловчался, продавец перестал показывать ему аппарат, и уже без церемоний говорил:

— Проходи, проходи, мальчик. Нечего баловаться — это тебе не игрушка!

И вдруг в один день все перевернулось. Нежданно-негаданно мы сказочно разбогатели! Теперь нам уже не надо будет больше играть и покупать все это понарошку. Теперь мы сможем купить себе все, что захотим: и пирожные, и конфеты, и даже дорогой, как швейная машина, Севкин фотоаппарат!

Дело в том, что мы нашли... золото. Самый настоящий клад, про которые пишут в газетах.

Что с нами творилось, невозможно передать! Мы просто потеряли голову.

Севка стал кричать, что теперь он покажет нахалу продавцу, какой он мальчишка! Он купит эту игрушку. Даже не один, а два фотоаппарата! Второй назло отдаст продавцу — пусть подавится!

Юля умоляла Севку не орать. Ведь еще не известно, действительно ли это золото. А вдруг не золото? Тогда нас поднимут на смех и раззвонят об этом по всей школе.

Она правильно говорила, что надо пойти к специалисту, узнать все точно, а до тех пор обо всем молчать.

Мы так и сделали. Завернули брусок в газе-

ту, положили в Юлин портфель и пошли в торгсин.

Но надо же рассказать, что это был за брусок и как мы его нашли.

Мы нашли его под полом в маленькой угловой комнате, где Сима, наша школьная нянечка, хранила свои щетки, ведра и тряпки. Эту комнату после долгих просьб нам отдали под пионерский уголок.

Вернее, нашли его не мы, а рабочие, которые летом, во время каникул, меняли прогнившие полы в классах и коридорах. Даже не так. Рабочие не нашли, а выбросили его. Подняли старые половицы и выбросили весь мусор, в том числе и валявшиеся там железные брусочки.

Сколько всего было этих брусочков — никто не помнил. Тот, что остался, был маленький, гладкий, серо-коричневого цвета, величиной с сургучную палочку. На этом бруске рабочие, пока шел ремонт, выпрямляли гвозди, потом он перешел по наследству к нам. Севка тоже распрямлял на нем гвозди, когда мы приводили в порядок пионерскую комнату.

Сначала никто не обращал на этот брусочек никакого внимания. Но с открытием торгсинов повсюду стали говорить про золото и клады, которые будто бы находят при прокладке водопроводов, сносе старых домов и, что особенно

заинтересовало нас, в старых особняках и именно под полами, а также в каминах и печах.

Печей в нашей школе не было — их давно заменили батареями парового отопления, — а старинный паркет был. И именно под таким паркетом лежал раньше наш брусочек. Кто же мог поручиться, что он был не золотой?! Ведь в школе до 1920 года жила старуха Крымчадалова — не то княгиня, не то графиня. Ей и принадлежал этот старый двухэтажный особняк. У нее, наверняка, раз она была эксплуататоршей, водилось много золота, и, когда произошла революция, она, конечно, скрыла его от Советской власти. Небось, сгребла все свои серьги, кольца, брошки да и переплавила в слитки. А потом упрятала под пол, чтобы вернуться за ними, когда большевиков прогонят, и опять понаделать себе брошек!

Севка уверял, что все это происходило именно так. На большой перемене он зазвал нас в пионерскую комнату, велел запереть дверь, залез на шкаф и достал оттуда запрятанный брусок. Севка, оказывается, как только ему втемяшилась в голову эта мысль, отчистил брусок песком, и тот ослепительно засиял.

Юля некстати вспомнила, что дедушкина медная пепельница, когда ее начищали, тоже блестела так же и, не сдержавшись, сказала об этом вслух. Севка обиделся, мы поссорились.

Но, успокоившись и поразмыслив, пришли к выводу, что не бывает же таких совпадений: и старинный особняк, и графиня, и паркет, под которым бруски!

Мы решили идти.

По дороге все стали мечтать вслух, что купим на эти деньги. Мы не знали, сколько нам могут дать за брусок, но все надеялись, что на пирожные и шоколадные батончики хватит. Севка же был уверен, что хватит и на фотоаппарат. Ведь именно из-за этого разыгралась так его фантазия и он заболел «золотой лихорадкой».

Принимали золото, оказывается, не в магазине, а совсем в другом помещении — за углом торгсина.

Когда мы все четверо ввалились туда, то растерялись. Солидные люди — мужчины и женщины — стояли в очереди к окошечку, проделанному в стеклянной перегородке. За перегородкой сидели старичок с лупой и две женщины. Одна что-то писала, а другая считала на счетах. Неподалеку от входной двери стоял милиционер с револьвером на боку.

Когда мы вошли, все обернулись и принялись нас рассматривать. Нам стало очень неловко. Мы не думали, что здесь будет так много народу и что придется у всех на виду вынимать и показывать нашу находку.

Севка оправился быстрее всех. Он взял у

Юли портфель и, подойдя к очереди, взрослым голосом спросил: «Кто последний?» Это сразу всех успокоило, и на нас перестали смотреть. Мы пришли в себя и принялись наблюдать, что делается вокруг.

Вокруг стояли владельцы золота. Но сдавали они его по-разному. Те, кто протягивал в окошечко коронку от зуба, обручальное кольцо или крестик, с гордостью говорили старику с лупой:

— Это настоящее золото!

Те же, что отдавали десятирублевки или толстые браслеты, говорили по-другому:

— Тут вот кое-какое золотишко — прикиньте, пожалуйста.

Старик относился ко всему совершенно безразлично. Он брал в руки все эти вещи без всякого интереса, разглядывал и, повертев немного, клал на железный брусочек размером чуть побольше нашего. Потом, безжалостно пиликнув напильником по брошке или кольцу, доставал из небольшого пузырька стеклянную палочку и капал на зачищенное место какой-то жидкостью. Севка сказал нам шепотом, что это кислота, — если не золото, металл потемнеет. Рассмотрев смоченное место, старик бросал вещь на весы.

— Это придется убрать, — говорил он, бесчувственно тыча пинцетом в прекрасные, сверкающие разноцветными огнями камни большой брошки.

— Но это же рубины, а вон те, что в лепесточках, настоящий хризолит! — задыхаясь от возмущения, говорил толстый владелец брошки.

— А я разве говорю, что стекло? Возьмите. Мы принимаем без камней. Что у вас? — без паузы обращался он к следующему.

Гражданин соглашался и, трагически махнув рукой, отдавал брошь.

Через секунду брошку нельзя было узнать. Плоскогубцы старика безжалостно сплющивали выпуклую веточку—и рубиновые капельки драгоценных камней сыпались на стол, как простой горох. Оголенную и подурневшую брошку клали на весы, а гражданин переходил к следующему окошечку получать свои боны, то есть торгсиновские «деньги».

Все, оказывается, было очень просто: ты сдавал золото, его брали, взвешивали и — получай деньги!

И все-таки чем ближе подвигалась наша очередь, тем больше мы волновались. Сразу возникла масса проблем: куда, например, лучше положить деньги? Ведь у нас была не пятиграммовая коронка от зуба и даже не десятирублевки. В нашем бруске, наверное, граммов пятьсот, не меньше! В Юлин портфель класть рискованно. И потом — где продержать такую уйму денег до завтрашнего утра?

Мы стали совещаться и так увлеклись, что

не сразу услышали, как старичок, приняв золото у стоявшей впереди нас тетеньки, постучал пинцетом по прилавку, спрашивая, что у нас.

Севка замешкался и никак не мог открыть портфель, а открыв, долго вытаскивал завалившийся за книжки брусок. Наконец, он извлек его, вытащил из газеты и, встав на цыпочки, протянул старику ярко блеснувший брусок.

Мы притихли, а в очереди, наоборот, зашумели. Кто-то, покинув свои места в очереди, подошел поближе, чтобы рассмотреть такой необычный кусок золота, кто-то стал нас расспрашивать, ахать и охать, а кто-то сказал, что дуракам всегда счастье.

В этой суматохе нас совсем оттерли от окошка, и мы не увидели, как рассерженный старичок высунулся из него против обыкновения чуть ли не до половины груди.

— Чей это слиток? — спросил он громко. (Оказывается, мы неправильно называли: не брусок, а слиток!).

Что было сил, мы заорали хором на весь Торгсин: — «Наш!», «Наш!» и, с трудом расталкивая взрослых, стали протискиваться обратно к окошку.

Около нас моментально очутился милиционер.

— В чем дело? Почему вы безобразничаете? — строго спросил он.

— Мы не безобразничаем, — сказал вспотевший Севка. — Мы сдали слиток, — уже вполне профессионально выразился он.

— Какой еще слиток? — совсем уже строго спросил милиционер.

— Золотой, — терпеливо сказал Севка. — Мы его нашли. Под полом. То есть не совсем мы, а...

Мы так путанно, так неправдоподобно все объясняли, что и сами перестали верить, что брусок наш.

— Это наш брусок, честное пионерское, — сказал Севка неискренним голосом.

— Ладно, ладно, там разберемся, — сказал милиционер и повел нас за перегородку.

— Теперь они там попляшут! — сказал нам вслед тот же голос, что говорил про дураков.— Улыбнется им золотишко!

Мы не пробыли за перегородкой и пяти минут. Подавленные вернулись мы в общую комнату и молча направились мимо очереди к выходу.

— Надо было распилить на кусочки, а не тащить все сразу, олухи! Тогда бы не отобрали! — прошипел все тот же голос.

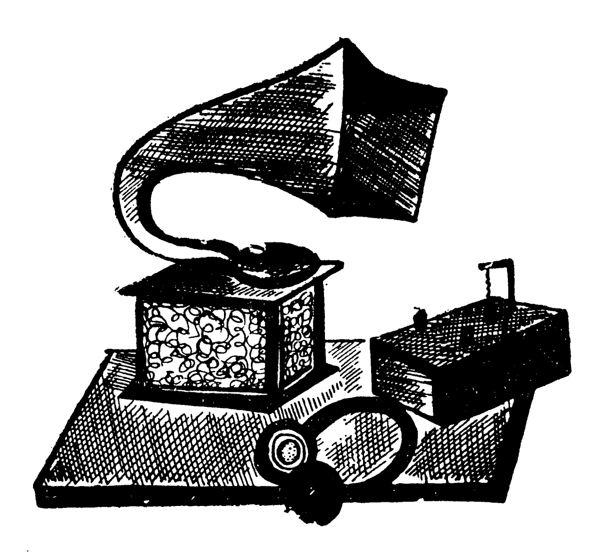
Удивленные, мы остановились и, посмотрев на шипевшего, наверняка бывшего буржуя, а потом друг на друга, поняли, что они не знают того, что стало известно нам за перегородкой, того, что брусок железный.

И тут на нас напал дикий хохот. Кругом недоумевали — в чем дело, почему мы смеемся? Тогда Севка, пересилив себя и утерев от слез глаза, сказал абсолютно серьезно:

— А мы и идем распиливать! Не верите? Вот! — И он, высоко подняв наше железное золото, показал его всем.

Те, которые поняли, дружно засмеялись. А милиционер, тоже не сдержавший улыбки, слегка подтолкнув нас к выходу, сказал:

— Давайте, давайте проходите — золотоискатели!..



Радиостанция имени
Коминтерна

Мы недавно стали вспоминать, как впервые услышали радио. То самое радио, которое мы нынче так легко включаем и выключаем, не прилагая к этому никакого труда.

Разговор зашел из-за Вадика. Последнее время он стал нас изводить. Как только мы, завесив абажур, усаживаемся около нашего ста-

ренького «КВН», он заводит свою «пластинку»:

— Разве это телевизор? Это же старая шкатулка! Ничего не видно! Курам на смех!

И так далее, в том же духе... Это у него вступительная часть — так сказать, артподготовка. Потом он переходит к основному и исполняет это уже другим голосом. Он начинает подъезжать к бабушке:

— Бабушк, а бабушк! Ну давай купим «Рубин». Или хотя бы «Темп». Ведь ты даже не знаешь, что такое настоящий телевизор!

Вадик обращается к бабушке потому, что она в нашей семье главная. Без нее не решается у нас ни одно важное дело. И еще потому, что Вадикова бабушка — наша мама — питает неженскую слабость ко всяким техническим новинкам и вообще к технике.

Она сама чинит электроутюги, плитки и пробки в квартире, когда они перегорают.

Техника — ее слабость. Если бы не надо было варить обед, ходить на рынок и штопать белье, мать целые дни возилась бы с каким-нибудь старым репродуктором, утюгом или счетчиком. Ничего она так не любит, как доходить до всего своим умом. Она часто повторяет: «Мне бы смолоду учиться, я бы вам показала!»

Это правда. Мы никогда не перестаем жалеть, что матери не пришлось учиться, — из нее вышел бы толковый инженер.

В войну она всему дому чинила электричество, водопровод и даже канализацию; чуть где испортится — бегут к нам.

— Анна Яковлевна, вода из крана хлещет, всю кухню залило!

Мать платок накинет и бежит. Железным прутом прочистит раковину, вырежет из старой калоши резиновый кружочек, развинтит кран и заменит сносившийся присос новым. Ей скажут:

— Золотые у вас руки!

А она всегда поправляет, ничуть не боясь, что хвастается:

— Руки без головы — плети. Шариком надо варить!

Однажды она купила по случаю старую швейную машину. Та и недели не прошила — испортилась. Отец пилил ее: купила старье, только зря деньги выбросила.

Мать вздыхала, задумчиво поглядывала на машинку. Потом решилась: взяла свои отвертки, стамески, ключики и разобрала все машинные внутренности. Мы пришли, а машинки уже нет. Все колесики, гаечки и винтики лежат на разостланной газете, а мать, забыв про все, с веселым отчаянием колдует над нею. Отец так и ахнул: совсем зарвалась старуха...

Дня три она возилась: подтачивала, смазывала и перетирала. Потом начала собирать. Собрала. Села шить — машинка, как параличная,

вся трясется, вихляется, вот-вот рассыплется. Никто из нас над матерью не подтрунивал — очень она переживала. Закрыла машинку футляром и не подходила к ней. А потом взяла и опять все развинтила. Когда же, наконец, добилась своего, весь день хвасталась:

— Ай да баба! Ну и молодец! Своим умом доперла!..

И, не разгибаясь, строчила все подряд, что нужно, и что не нужно...

А Вадик, между тем, все пристает:

— Бабушк, ну ладно. Ты не покупай «Рубин». Ты только сходи посмотри, что это такое. Ведь интересно же...

Вадик хорошо знает свою бабушку: главное— заставить ее увидеть новинку, а там и уговаривать не надо.

Но и бабушка знает свою слабость. Потому она и отбивается.

— Не жужжи и не мешай смотреть, — говорит она. — Никуда я не пойду, и так прекрасно видно.

— Пре-кра-сно... — фырчит Вадик. — Эту старую коробку на помойку пора.

Бабушка начинает сердиться. Слова же про помойку окончательно выводят ее из терпения.

— Ишь ты, барон какой, разжирел больно— на помойку. Забыл, поди, как люди вовсе без радио жили.

Вадик издает такой протяжный свист: фью-ю-ю — вона, мол, какую древность вспомнила, — что мы затыкаем уши.

— Ты бы, — говорит он, — еще и каменный век вспомнила или как люди по деревьям лазили и огонь из кремня высекали.

— Пустомеля ты, — осуждающе качает головой бабка. — Книжки читаешь, историю проходишь, а в голове каша. Что к чему, не соображаешь. Что ж, по-твоему, мы с дедом по деревьям лазили?

— Причем тут вы с дедом, — сердится Вадик. — Вы же в двадцатом веке живете, а не в древности.

В голосе Вадика ни тени юмора. Он не сразу понимает, почему мы разражаемся дружным хохотом. Он, конечно, знает, что радио изобрели сравнительно недавно. Но в его голове люди, ходившие в латах, и те, что жили без радио и электричества, свалены в одну кучу. Вещий Олег, хазары, Александр Невский, Иван Грозный — эти жили без радио. И это понятно. Но что его бабушка или родная мать, сидящие с ним вместе, за одним столом, жили когда-то тоже без радио, — этого он себе представить не может.

Вадик прямо потрясен. Ему это никогда не приходило в голову. Он забывает про «Рубин» и «Темп» и засыпает нас кучей вопросов, один нелепее другого.

— Нет, мам, — говорит он, захлебываясь,— вы не разыгрываете? Правда, вы жили без радио? А как же вы жили? И «последних известий» не было? И «погоду» не передавали?

— Погоду передавали, — смеется бабка. — Фоминишна передавала. Как ноги заломит, говорила — будет дождь.

— Бабушка, — обижается Вадик, — я же серьезно.

— Так ведь и я, дурачок, серьезно? Какая же тебе «погода», если никакого радио не было?

Бабушка теплеет. Она уже не сердится на Вадика, а с грустной нежностью радуется его удивлению. Она и сама удивляется. И все мы тоже.

Неужели и вправду мы жили без радио? И никто не говорил по утрам: «Здравствуйте, товарищи, начинаем урок гимнастики!», и не пел свои милые песенки озорник Буратино, и не били в полночь часы со Спасской башни?..

Но когда же это было? Когда появился в нашей квартире первый детекторный приемник — небольшая черная шкатулка с маленькой пружинкой-хоботком, которой мы в поисках волны часами благоговейно царапали по сверкавшему, как антрацит, кристаллу и умилялись, услышав в наушники тоненький, как мяуканье, человеческий голос?

Никто сразу не может назвать точную дату. Все путаются и сбиваются — время сместило

события. Мы начинаем плутать по годам, спорим, сердимся и даже ссоримся. Сестра говорит, что в двадцать четвертом, а я — в тридцатом.

Лучше всех ориентируется бабушка. Как все старые люди, она помнит далекое лучше, чем близкое. Помнит, правда, по своим приметам и ориентирам. Ориентиры эти часто смешные, но всегда безошибочные. Смешные потому, что они у нее одинаковые и для домашних и для мировых событий. Всегда это какой-нибудь выбитый зуб у одного из нас, какие-то разбитые коленки и носы, чьи-нибудь первые длинные брюки или первая получка.

— Ну что ты мелешь, — говорит она мне.— В каком же тридцатом, когда в тридцатом биржи труда уже не было.

— При чем тут биржа?

— А при том, что Сергей купил приемник за червонец из первой получки. Стало быть, он уже работал. А на завод его послала биржа — он тогда был безработным.

— Вот видишь, — торжествует сестра.

— И ты врешь, — обрезает ее мать. — Ни в каком ни в двадцать четвертом. В двадцать четвертом Сережа еще учился. — Она начинает считать вслух: — В двадцать четвертом учился. Год ходил безработный. В тридцатом биржи уже не было. Должно быть, в двадцать шестом?, — Она на минуту задумывается, а потом

уже уверенно говорит: — Ну, конечно, в двадцать шестом! Ты ведь косу-то отрезала в двадцать шестом? — неожиданно спрашивает она сестру.

— Ну, уж про косу я не помню! — отмахивается сестра.

— Хороша партийная, — возмущается мать. — Не помнишь, когда в комсомол вступала.

Сестра обижается.

— При чем здесь партийная? Ты же про косу, а не про комсомол спрашиваешь. В огороде бузина...

— Бузина бузиной, а косу-то ты ведь отрезала, когда в комсомол записывалась.

— А ведь верно, — восхищенно удивляется сестра.

Вадик сейчас же встревает. Он не может отказать себе в удовольствии сострить, или, как говорит бабушка, «сумничать». Сложив ладони рупором, он объявляет голосом диктора:

— Историки, учитесь, как вытаскивать исторические факты за косу!

Он доволен, что срывает смех, но тут же спохватывается.

— Не буду, не буду, — поспешно говорит он, увидав, что бабушка, обиженно поджав губы, умолкает. — Честное слово, не буду. Что же бы-

ло дальше? Как же вы все-таки услышали радио?

— Неинтересно это, — с напускным равнодушием говорит бабка, — да и поздно уже.

— Ну, бабушка, ну, пожалуйста, — молит Вадик.

— Не помню я, — упрямствует старуха.

— Неправда, неправда! Не может быть, чтобы ты не помнила. Ну что ты, например, чувствовала, когда впервые услышала в эфире голос? Что говорила?

В бабкиных глазах загорается вдруг озорная искорка — она рада случаю отомстить Вадику.

— Что говорила — помню.

Вадик — весь внимание.

— Что же?

— Говорила, как сейчас помню: хорошо, что нет этого бузотера Вадика — никто не мешает слушать.

Вадик старательно смеется со всеми — лишь бы мы продолжали вспоминать.

И мы вспоминаем. Вспоминаем Москву с булыжной еще мостовой и громыхающими по ней извозчиками; с кишащей толкучкой Сухаревского рынка и колбасой, которую жарили на гудящих примусах тут же, под ногами у людей; с фонарщиком, гасящим в полночь уличные фонари длинным шестом; с птичьим базаром на

Трубной площади, замусоренной овсом и птичьим пометом...

Еще вспоминаются невесть почему ходкие тогда папиросы «Ира», которые продавцы Моссельпрома носили на лотках, подвешенных к шее.

Наконец мы добираемся до радио. Не сговариваясь, все вспоминают сразу одно и то же. Не то, как выглядел первый приемник, и не программы передач, а тетю Полю — тетку, приехавшую к нам в гости из владимирской деревни Доратники. Как мы тогда ее усадили около новенького, только что купленного приемника, как надели наушники и велели слушать, как она сначала весело смеялась, думая, что мы с ней играем, и как потом испугалась, услышав в трубке голос, стала креститься: «Царица небесная! Что же это такое?» И все озиралась, откуда говорят.

Мать первая перестает смеяться и с присущей ей страстью к справедливости говорит:

— Смеемся, а сами-то тогда были ничуть не лучше Поли — такие же дикари, только что не крестились, а удивлялись не меньше.

Правда, каких только разговоров, анекдотов, куплетов и частушек не пели, не рассказывали, не передавали из уст в уста, когда разнеслись первые вести о предстоящем «внедрении радио в быт трудящихся»!

Мысль о том, что с помощью какого-то провода можно будет, не выходя из дома, слушать

человеческий голос, даже целые лекции, или, сидя у себя в комнате, «вызывать» по этому проводу музыку, не заводя при этом граммофона, казалась невероятной.

В клубе пищевиков синеблузники исполняли под веселый хохот зала такие частушки:

Мой миленок загрустил,
Ему дана дистанция —
Целоваться теперь надо
По радиостанции!

У нас на кухне в связи с этим разыгрывался свой «спектакль». Потешали «публику» наши соседи — Василий Терентьич и Пахомыч. Выходя кипятить свой чайник, Василий Терентьич озабоченно спрашивал Пахомыча — владельца граммофона с зеленой трубой:

— Ну как, Пахом Савельич, еще не снес?

Давясь от смеха, Пахомыч говорил:

— Да поясница сегодня чевой-то сильно болела. Боялся надорву: помойка-то в конце двора, а он, дьявол, тяжелый.

— И не раздумывай, Савельич, и не раздумывай! Граммофоны теперь абсолютно лишняя вещь — только комнату загромождают. Теперь музыка по проводам будет литься, как в водопроводе: краник отвернешь — и польется.

Оба, не выдержав, начинали так весело, так искренне и долго смеяться над этой чепухой, что примус прогорал, не успев разжечься.

И вдруг чепуха оказалась вовсе не чепухой. Никакого краника, правда, не было, и музыка не лилась, как из водопровода. Были наушники, которые мы надевали на голову, как радисты, и была тихая-тихая музыка, плохо слышная еще и потому, что мы поминутно вырывали друг у друга наушники: послушал и хватит — видишь, сколько еще ждут.

Теперь «про миленка» ходила совсем уже другая частушка. Повсюду пели:

Мой миленок очумел,
Ничего не кушает:
Трубки на уши надел,
Радио все слушает!

Вся Москва сидела с наушниками и в исступлении царапала маленькой пружинкой угреватый кристаллик, ловя позывные и дожидаясь волнующих, как музыка слов: «Говорит станция имени Коминтерна!..»

Мы слушали все подряд: музыку, песни, телеграммы РОСТА. И больше всего именно телеграммы РОСТА — они занимали тогда в программе передач очень большое место. Никого не смущало и не раздражало, что телеграммы передавались по буквам. «Иван, Зоя, Роман, Ольга, Семен, Татьяна, Ольга, Владимир, Анна...» — монотонно, как дьячок, читал диктор, а мы с восторгом детей, сложивших из отдельных куби-

ков целую картинку, радостно повторяли вслух: «Из Ростова сообщают!»

Горячась и перебивая друг друга, мы вспоминаем новые и новые подробности, а в это время наш неразговорчивый отец — дедушка Вадика — молча сидит у окна и читает газеты. Он читает газеты часа по три: все речи на ассамблеях, статьи «Решающий этап ухода за посевами» и «Политмассовую работу — на уровень новых задач!» Он не участвует в наших разговорах, но, как всегда, слышит все, что мы говорим. Когда мы начинаем спорить о дате, он идет к своей этажерке, сверху донизу забитой газетами и журналами, сложенными и увязанными по годам. Он роется, ищет что-то, находит нужный ему журнал, садится опять на диван и принимается сосредоточенно листать номер. Когда мы, устав от восклицаний, замолкаем, он снимает свои очки и говорит:

— Вот вы весь вечер проговорили, время потеряли. А про это уже давно написано. На вот, почитай, — говорит он Вадику. — А то так и будешь знать историю по бабкиному календарю.

Вадик берет журнал, вопросительно смотрит на бабушку, та коротко приказывает:

— Читай!

И Вадик читает нам вслух заметку «Первый радиоконцерт»:

«...17 сентября 1922 года в Москве, на Горо-

ховском поле (ныне улица Радио), начала работать первая радиостанция Советского Союза, которой было присвоено имя Коминтерна. Двенадцатикиловаттная московская радиостанция (в то время самая мощная в мире) была спроектирована по личному заданию Ленина известным ученым М. А. Бонч-Бруевичем. Первый транслировавшийся из Москвы радиоконцерт был посвящен русской музыке.

...7 ноября 1922 года, — продолжает читать Вадик, — на улицах Москвы появился необычный автомобиль. Из рупора, который возвышался над кузовом, гремела музыка, хотя музыкантов в машине не было. Это была первая радиопередвижка, сконструированная Наркомпочтелем к пятой годовщине Октябрьской революции. Аппаратура была, конечно, весьма примитивной: музыка и речь сопровождались свистом и шумом. И все равно — восторгу москвичей не было предела.

...Регулярного радиовещания тогда, как известно, еще не было. Поэтому решили устраивать «радиопонедельники» в больших залах столицы. Первый такой понедельник состоялся в Большом театре 8 сентября 1924 года. Собравшиеся слушали концерт, который передавался по радио из студии станции имени Коминтерна. На сцене была установлена антенна. Здесь же, на маленьком столе, стояла радиоприемная установка, со-

единенная с мощным усилителем звуковой частоты, который питал рупорные громкоговорители, укрепленные в различных местах зала. Вечер открыл народный комиссар просвещения РСФСР А. В. Луначарский».

Заметка кончалась такими словами: «Как недавно и как давно все это было...»

Вадик задумался. Никто не стал мешать ему. Пусть подумает.



Сине-блузники

Мне позвонила Клава Балашова и вместо приветствия обругала:

— Когда в вашей редакции работают? Как ни позвонишь — все у вас «планерка»! Что вы там планируете? Как сделать свою газетку поскучнее? По-моему, уже хватит. Лично я засыпаю на второй странице...

— Какое совпадение! — говорю я Клаве. —

То же самое сказал мне недавно наш общий знакомый: «Чуть, говорит, не заснул на второй странице...»

— Вот видишь, — торжествует Клава. — Пора выводы делать.

— Конечно, пора. «Заснул, говорит, когда читал статью «Музейное дело — на должную высоту!» нашего дорогого директора музея товарища Балашовой К. В.».

Клава добродушно смеется. Трубка телефона весело хрипит от кашля старого курильщика.

— Ладно, ладно, вывернулась. Газетчик! А если говорить по-серьезному, то проезжаешься зря. Меня тема обязывала. Это вам не цирк.

Я охотно соглашаюсь: какой там цирк. Разве в цирке заснешь?

— Ты смотри у меня! — грозится Клава. — Будешь так язвить — возьму и обижусь. Умолять станете — не напишу.

— Пиши, пиши. Все равно: не напишешь ты, другие напишут. И тоже «на высоком уровне» и «на должной высоте». И тоже будут уверять, что это не цирк.

— Слушай, — говорит Клава, — отвяжись ты со своей газетой. И шут меня дернул начать. У меня работы по горло: люди ждут, выставка горит и к тебе срочное дело. Переворачивай пластинку.

— А-а, переворачивай! Не надо ханжить. Ну говори, какое дело?

— Ладно, сдаюсь! — говорит Клава. — И, если хочешь знать начистоту, я с тобой согласна. Пишем больше для «галочки». Пора с этим кончать. Дело вот какое: ты ребят наших видишь или всех растеряла?

— Вижу, а что?

— Кого именно?

— Ну, Сашку Павлищева, Зяму, Симу Маслову, Катю с Рубинчиком...

— Так-так, — радуется Клава. — Очень хорошо. Ты можешь их обзвонить? Прямо сегодня?

— Могу. А что за пожар?

— Мне нужна блуза, — жалобно говорит Клава. — Обшарили, понимаешь, всю Москву. Искала я, искали мои сотрудники — того, что мне надо, нет. Вся надежда на ребят.

Я ничего не понимаю и сержусь: какая блуза? Почему мы должны заниматься Клавиными туалетами? Что за барство?

Клава сердится:

— Ты что, в своем уме? При чем тут мои туалеты? Мне же синяя блуза нужна. Для музея. Как экспонат — на выставку «Сорок лет комсомола»...

Вот тебе и на! Оказывается, мы уже история. И Сашка Павлищев, и я, и сама Клава. А

наши синие толстовки, наша форма участника комсомольской самодеятельности — музейные экспонаты. Как бивни мамонта.

— Сравнила! — возмущается Клава. — Да я бы эти клыки мешками грузила.

Да-а. Я от души сочувствую Клаве. Где теперь разыщешь эту злосчастную синюю блузу? Никому и в голову не приходило, что наша сатиновая одежда понадобится истории.

— Ты все-таки обзвони ребят. Вдруг у кого-нибудь сохранилась. И у себя поройся — может, какой-нибудь документ найдешь. Ты пойми, ведь кроме нас рассказать об этом некому. Умрем, так ничего толком и не будут знать. А ведь это целая эпоха. Ну, идет, что ли?

Я рылась весь вечер в пожелтевших папках и заветных ящичках, вороша прошлое. Для музея вроде ничего не подходило. И вдруг я наткнулась на фотографию — вся наша «Синяя блуза». В полном составе и во всех своих боевых доспехах: в форме, с плакатами и лозунгами. Все какие-то очень стриженые, очень лупоглазые, с оголтело-самозабвенными лицами.

Некоторых я узнаю сразу: вот Сима Маслова, Катя Преснякова, Ефим Рубинчик. На девчатах красные косынки, у черноволосого курчавого Ефима веревочная борода от подбородка до живота. Ефим — дед-раешник. Их номер назывался «Работница и новый быт» и «Частушки

курьезные, антирелигиозные». Сначала запевали девчата:

Раньше женщина была
Рабой подначальною,
А теперь вступила в бой
С кухней и со спальнею...

Потом включался дед, который свой текст не пел, а декламировал:

Теперь я уже во всю глотку бухну:
Долой частную кухню!
Для нового быта —
Долой примус и корыто!..

А это кто? Не узнаю. Худосочная большеротая девочка, на груди, от плеча к плечу, как пулеметная лента, плакат. Что такое на нем написано? Буквы вышли не все, разобрать трудно. Ага, кое-что видно: «Ж..щи.а! Не будь ..рой! .ани...ся физ..ль.ур.й!» Я валюсь от смеха на стол. Вспомнила! Не разобрала, а именно вспомнила. Это же нынешний директор музея Клавдия Васильевна Балашова, Клавочка! А на груди у нее лозунг. Она выкрикивала его, становясь в позу идущего в бой гладиатора! «Женщина! Не будь дурой! Занимайся физкультурой!» И маршировала под музыку, не очень ловко делая на ходу вольные упражнения...

Я узнала всех и вспомнила все: кто кого изображал, кто как одевался, у кого какие были при-

вычки, кто в кого был влюблен. Я вспомнила, как пахла подгоревшая пшенная каша, которую мы ели в столовой по три раза в день. Песни, которые пели: «Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка...» Дискуссии, на которых орали до хрипоты: «Этично или неэтично комсомольцу носить галстук, а комсомолке мазать губы?» и «Когда произойдет мировая революция?..»

Я смотрела на юного, милого, курчавого Ефима, похожего со своей веревочной бородой на веселого сумасшедшего, и вспоминала, как мы прорабатывали его на ячейке «за проявление гнилой, мелкобуржуазной храбрости». Он тогда, как говорил Сашка, «хорошенький нам вышил кошелечек», — улегся на спор между рельсами железной дороги в Пушкино, куда мы поехали выступать у текстильщиков со своей «Синей блузой», и пролежал под составом товарного поезда, пересчитав, как и пообещал, все до одного вагоны. Он мог бы и не считать. Та, которая по уговору должна была его контролировать, — жестокая и прекрасная Бекки Тэчер, то есть Катя Преснякова, — лежала ничком на насыпи и рыдала навзрыд... Это Сашка Павлищев, без памяти любивший Ефима, назвал его тогда «мелкобуржуазным, гнилым храбрецом». «Ты,— говорил он, — докатишься таким путем до того, что начнешь девицам букеты преподносить». За эту формулировку — «Объявить выговор за

проявление гнилой, мелкобуржуазной храбрости» — мы и проголосовали тогда единогласно.

А сам Сашка — наш синеблузный вождь! Тоже был хорош! Его заносило еще почище Ефима. Какую вдохновенную чепуху нес он, бывало, когда мы уже за полночь возвращались после репетиции из клуба домой.

— Этот старый, пыльный балаган надо снести к чертовой бабушке! — гремел он, тыча не очень чистым пальцем в сторону безмятежно белеющих колонн прославленного театра. — Все эти шелка, бархаты, плащи и шпаги, козетки и пуфики (особенно он налегал почему-то именно на эти пуфики)! Кому нужно это отжившее барахло? «Синяя блуза» — вот театр будущего!..

Тут же, на площади, он начинал, а мы подхватывали наш знаменитый марш:

Знает дорогу «Синяя блуза»:
С красными — в ногу, белого — в пузо'
Мы синеблузники, мы профсоюзники,
Мы не бояны-соловьи.
Мы только гайки в великой спайке
Одной трудящейся семьи!

Из таких вот двенадцати гаек — шести парней и шести девчат — и состояла наша фабричная «Синяя блуза» — самодеятельный народный театр двадцатых годов.

Никому, разумеется, и в голову не приходило принимать нас за боянов или соловьев. Мы и са-

ми сознавали, что до боянов нам далеко. Во-первых, мы не умели как следует ходить по сцене — сильно мешали две, вернее, четыре детали: руки и ноги. Почему-то они не увязывались с туловищем, а все вместе — с музыкой. Получалось не совсем складно. Во-вторых, мы очень конфузились на сцене. Из-за этого часто забывали текст, сбивались, толкали друг друга или дергали за рукав. Зрители, правда, на нас не обижались, а даже подбадривали. Сколько раз, когда, забыв свой текст, кто-нибудь из нас одеревенело стоял, не в силах произнести ни одного слова, нам добродушно кричали из зала: «Дочка (или сынок)! Не тушуйся, валяй дальше!»

Со временем мы, конечно, понаторели: забыли про руки и ноги и держались на сцене, как у себя в ячейке. Без запинки выдавали длинный стихотворный текст, ловко карабкались друг другу на плечи, сооружая замысловатые пирамиды, и все до одного лихо отбивали чечетку — знаменитый танец двадцатых годов.

Без нее не обходилась ни одна программа. Чечеткой сопровождалось все: куплеты про «Антанты спесь», частушки «Пусть нэпач с досады дохнет» и лозунги про «Всероссийскую чистку»: «Вычистила я в момент ненадежный элемент, во!» (Сима, на груди у которой висела надпись «Я — Всероссийская чистка», после слова «во!»

делала угрожающий выпад ногой, как солдат на смотру, и колола воображаемым штыком воображаемый элемент).

Плохо было с музыкой. Революционных песен не хватало, да и не каждую можно было приспособить к нашему тексту и нашим персонажам. Использовали все: старинные русские песни, цыганские романсы, опереточные куплеты и даже шансонетки. Со временем за каждой группой героев закрепился свой мотив. Акулы империализма и буржуазные министры излагали свои ультиматумы под звуки «Камаринской» или «Разлука ты, разлука...» Попам, спецам, нэпманам полагалось «разоблачаться» под звуки оперетт или цыганских романсов.

...Эх, ребята, ребята! Грех не написать про вас. Чемберлена вы ненавидели больше собственной мачехи (как Сашка Павлищев). Резолюции о борьбе с мещанством подкрепляли отрезанными косами (роскошными косами Кати Пресняковой). Имена детям придумывали сообща, всей ячейкой: Да-ешь Ми-ровую Р-еволюцию— Дамир Маслов...

Молодец Клава, что расскажет обо всем этом в своем музее.

* *
*

В торжественном и строгом, как церковь, музейном зале на элегантных алюминиевых рас-

порках под стеклом висит старенькая синяя блуза. Несколько пятен—не то от масляной краски, не то от грима—и прожженный рукав (небось, курил на репетиции!) придают ей романтический вид. Подпись, обрамленная рамкой, гласит: «В середине двадцатых годов в нашей стране возникла своеобразная форма самодеятельного народного творчества, так называемая «Синяя блуза» — театрализованные коллективы, создававшиеся из числа молодежи на фабриках, заводах, а также в учебных заведениях и получившие свое название от формы одежды: широкого покроя кофты типа толстовки. Коллективы «Синей блузы» несли в массы...».

Я морщусь, как от зубной боли, читая все это. А навстречу нам спешит Клава, узнав, что мы всей старой компанией ввалились в музей.

Ефим, у которого теперь уже не веревочная, а настоящая борода, смеется и кричит через весь зал:

— Привет товарищу Балашовой! Поднимем известное нам дело на известную высоту!.. А блузочка-то наша — не хуже королевской мантии — под стеклом! Ай да мы!

— Тихо ты, — говорит Клава, — это же все-таки музей...

Вера Тимофеевна Кукинова

Исчезнувшие слова

Редактор **А. Гусакова**
Художник **Ник. Попов**
Худож. редактор **Ю. Соболев**
Техн. редактор **А. Назарова**
Корректор **Л. Брик**

Сдано в набор 11.IV 1962 г.
Подписано к печати 21.VI 1962 г.
Изд. № 23. Формат бум. $60 \times 92^{1}/_{32}$.
Бум. л. 1,0. Печ. л. 2,0.
Уч.-изд. л. 1,72. А 06288.
Тираж 150000. Цена 4 коп. Заказ 1313.
Изд-во «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.

Типография изд-ва «Знание».
Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.

Дорогой читатель!

Просим Вас отзыв о данной книжке и свои пожелания присылать в издательство «Знание».

Наш адрес: Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.

В серии «Прочти, товарищ!» в 1962 году вышли в свет:

С. Антонов. За всех нас.
Э. Баллер. Общество свободных и равных.
К. Винокуров, А. Фесенко. На поле богатырском.
А. Губарев. Дорогами Вселенной.
В. Гузанов. Изуверы.
А. Егиазаров, Ю. Анохин. Поднявший меч...
Д. Жариков. Противоатомная защита.
Д. Жуков. Загадочные письмена.
И. Жур, А. Полонский. Добрая слава.
Ю. Иньков. Рука друга.
А. Казанцев. Остановленная волна.
А. Лавров, О. Лаврова. ЧП — дармоед!
И. Линдер. Ваша любимая игра? — Шахматы!
А. Лукин. Разведчики.
И. Печенюк. Из глубин Вселенной.
И. Узков. Вера, надежда, любовь.

В ближайшее время выйдут книжки:

А. Алексин. Вам письмо.
М. Андреев. Тайны Ватикана.
С. Андреев. Крылом к крылу.
А. Безуглов. Кто виноват.
А. Ваксберг. Суду все ясно.
Ванда Василевская. Фидель Кастро
Н. Вершинский. Окно в подводный мир.

О. Голубев. В гостях у моря.
Ю. Дмитриев, Н. Осипов. Повесть о вечно живом Джо.
И. Левченко. Без обратного билета.
Я. Макаренко. Современники.
М. Моисеева. Сказки, о которых стоит подумать.
А. Новиков. Фонтан над тайгой.
М. Поповский. Целительная сталь.
Ц. Солодарь. Где ты, Луиджи?
А. Смирнов-Черкезов. Рассказы.
А. Старков. Сильные люди.
А. Шварц. Орлиное сердце.
М. Шур. Клад золотых огней.
